

*Юлий Стенер*  
**ОСТАНЕТСЯ  
ПРИ МНЕ**

*Wallace Stegner*  
**CROSSING  
TO SAFETY**

*Уоллес Стегнер*  
**ОСТАНЕТСЯ  
ПРИ МНЕ**  
*роман*

*Перевод с английского*  
ЛЕОНИДА МОТЫЛЕВА



издательство АСТ

Москва

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)  
С79

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

**Стегнер, Уоллес.**

С79 Останется при мне : роман / УОЛЛЕС СТЕГНЕР ; пер. с англ. Л. МОТЫЛЕВА. — Москва : Издательство АСТ : CORPUS, 2017. — 480 с.

ISBN 978-5-17-098575-3

Американский писатель Уоллес Стегнер (1909-1993) — автор множества книг, среди которых 13 романов и несколько сборников рассказов, лауреат различных премий, в том числе Пулитцеровской. “Останется при мне” (1987) — его последний роман. Это история долгой и непростой дружбы двух супружеских пар, Лангов и Морганов. Мечты юности, трудности первых лет семейной жизни, выбор между академической карьерой и творчеством, испытания, выпавшие на долю каждого из героев на протяжении жизни — обо всем этом рассказывает Стегнер, постепенно раскрывая перед читателем сложность и многогранность и семейной жизни, и дружбы.

УДК 821.111-31(73)  
ББК 84(7Сое)

ISBN 978-5-17-098575-3

- © Wallace Stegner, 1987. All rights reserved
- © Л. Мотылев, перевод на русский язык, 2017
- © Library and Archives Canada, фотография на обложке
- © А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2017
- © ООО “Издательство АСТ”, 2017
- Издательство CORPUS ®

# Оглавление

## **ЧАСТЬ I**

13

## **ЧАСТЬ II**

297

## **ЧАСТЬ III**

403



М. П. С. —

в благодарность за более чем полвека любви и дружбы;  
и друзьям, которыми мы оба были  
счастливы наделены.





Пусть Время прибирает все к рукам.  
Лишь то, с чем сквозь Таможни смог пробраться,  
Останется при мне. Я не отдам  
Того, с чем без излишних деклараций  
К Надежным переправился Местам.

РОБЕРТ ФРОСТ







# 1

**В**сплывая, будто форель, сквозь сновидения, со-  
вмещенные с памятью, гибко проныривая че-  
рез кольца минувших всплываний, оказываюсь  
на поверхности. Открываю глаза. Бодрствую.  
Так, должно быть, глядят на послеопераци-  
онный мир больные катарактой: с глаз снимается по-  
вязка — и каждая деталь видна отчетливо, словно впер-  
вые, но вместе с тем она знакома по временам хорошего  
зрения; воспоминание и действительность сливаются  
воедино, как в стереоскопе.

Явно еще очень раннее утро. Свет, полосками про-  
никающий по краям жалюзи, мгlistый, сумеречный.  
Но я вижу — или вспоминаю — или вижу и вспоми-  
наю: окна без занавесок, голые потолочные балки, об-  
шитые досками стены, на которых нет ничего, кроме  
календаря, висевшего тут, думаю, и в прошлый наш при-  
езд восемь лет назад.

То, что выглядело вызывающе спартанским, теперь  
кажется ветхим. С тех пор как Чарити и Сид переда-  
ли участок детям, ничего тут не подновлялось и не до-

бавлялось. Могло бы сойти за пробуждение в семейном мотеле в нищем захолустье, но я ничего такого не чувствую. Я слишком много хороших дней и ночей провел в этом домике, чтобы он нагонял на меня тоску.

Чем-то даже, когда глаза привыкают к сумраку и я, подняв голову с подушки, осматриваюсь, комната вселяет чудное спокойствие, греет и в полутьме. Ассоциации, вероятно, но еще и цвет. Струганая сосна стен и потолка приобрела за годы насыщенный медовый оттенок, словно впитав в себя тепло людей, которые возвели это строение ради друзей, как убежище для них. Я истолковываю это как предзнаменование; и даже напомнив себе, почему мы здесь, не избавляюсь от ощущения родства и ласковости, которое испытал, проснувшись.

Воздух такой же знакомый, как комната. Обычный для летнего коттеджа легкий запах мышей, плюс слабый, не-неприятный намек на былые появления скунсов под домом, но помимо этого и сквозь это — какая-то бодрящая высокогорность. Иллюзия, конечно. То, что пахнет высотой, на самом деле широта. Канадская граница всего в каком-нибудь десятке миль, и ледник, который оставил тут следы повсюду, кажется, не ушел навсегда — только отступил. Что-то в воздухе, даже августовском, предвещает его возврат.

Если забыть о смертности — а здесь это всегда было легче, чем в большинстве других мест, — то можно, пожалуй, поверить, что время идет по кругу, а не линейно, не поступательно, как всеми силами стараются доказать наша культура. В геологическом плане мы не что иное, как будущие окаменелости: нас похоронят, а потом, когда-нибудь, выставят для показа грядущим существам. Что геологически, что биологически

мы не заслуживаем внимания как индивидуальности. Мы не так уж сильно друг от друга отличаемся, каждое поколение повторяет своих родителей, и то, что мы сооружаем в надежде, что оно переживет нас, не намного долговечней муравейников и куда менее долговечно, чем коралловые рифы. Здесь все возвращается на круги своя, повторяется и возобновляется, и настоящее мало отличимо от прошлого.

Салли еще спит. Я встаю с кровати и иду босиком по прохладному деревянному полу. Календарь, когда прохожу мимо, поправляет меня: он не тот, что мне припомнился. Он безошибочно утверждает, что на дворе 1972 год, август.

Дверь, когда я осторожно ее открываю, скрипит. Бодрящий воздух, серый свет, серое озеро внизу, небо, сереющее сквозь хвойные лапы тсуги — эти деревья высоко вздымаются над крышей веранды. В былые годы летом мы с Сидом не раз спиливали эти деревья-сорняки, чтобы в гостевом доме было светлее. Уничтожали только отдельные экземпляры, искоренить здесь тсугу как вид у нас и в мыслях не было. Тсуге нравится этот крутой берег. Подобно другим видам, она держится за свою территорию.

Возвращаюсь, беру со стула свою одежду — ту же, что была на мне еще в Нью-Мексико, — и одеваюсь. Салли спит и спит, утомленная долгим перелетом и пятью часами езды из Бостона. Слишком трудный для нее был день, но о том, чтобы сделать остановку, заночевать где-то по пути, она и слышать не хотела. Позвали — значит, надо быть.

Стою некоторое время, слушаю ее дыхание и думаю: решиться ли выйти, оставить ее? Спит крепко,

просыпаться явно пока не собирается. Никто в такую рань сюда не придет. Этот кусочек утра — мой. На цыпочках выхожу на веранду и подставляю себя тому, что, по всем ощущениям, с равным успехом можно датировать и 1972-м, и 1938 годом.

Никто на участке Лангов пока не встал. Ни светящихся сквозь листву окон, ни дымка в воздухе. Иду мимо дровяного сарая по пружинящей лесной тропинке, выхожу на дорогу, и там меня встречает небо, слегка светящее на востоке, с утренней звездой, горящей ровно, как лампа. Из-под деревьев оно казалось мне пасмурным, но тут я вижу над собой бледную, безупречно чистую опрокинутую чашу.

Ноги сами несут меня по дороге к воротам и дальше. Сразу после ворот путь раздваивается. Я поворачиваю не к Верхнему дому, а направо, по узкой грунтовой дороге, которая поднимается на холм, огибая его вершину. Джон Уайтмен, чей дом стоит у ее конца, умер пятнадцать лет назад. Сердиться на то, что я здесь иду, он не будет. Я сотни раз в прошлом проходил этим чудесным потаенным коридором между деревьями, который нынешним утром наполняют птичьи голоса и шорох маленьких пугливых существ, — этой самой моей любимой из всех дорог.

Все мокрым-мокро от росы. В папоротниках хоть мой руки, а когда срываю листок с кленовой ветки, голову и плечи обдает точно душем. Через лиственный лес у подножья холма, через полосу кедров, растущих на влажной от родников земле, и дальше по крутому склону, поросшему елями и бальзамином, я двигаюсь чутко, услаждая зрение. Вижу на глинистой земле следы енотов, взрослого и двух маленьких; вижу спелые



травы, гнущиеся от влаги крутыми дугами; вижу пятнистые оранжевые шляпки мухоморов, к концу лета плоские или даже вогнутые, удерживающие воду; вижу миниатюрные “лесочки” из плауновых. Под широкими юбками елей — коричневые пещеры, убежища для мышей и зайцев.

Ноги уже мокрые. Где-то поодаль пробует голос — словно вспоминает полузабытую песню — белогорлый воробей. Смотрю влево, пытаюсь разглядеть выше по склону холма Верхний дом, но вижу только деревья.

Всхожу на холм, и передо мной распахивается все небо, огромное и полное света, утопившего звезды. Оно обрамлено холмами, наслаивающимися друг на друга. Над горой Стэннард в воздухе точно разлито горячее золото, и, пока я смотрю, солнце поднимается над вершиной и заставляет меня опустить глаза.

Мы не удовольствия ради приехали в этот раз сюда, на озеро Баттел-Понд. Мы приехали из любви и семейной солидарности, приехали, потому что нас, давно принятых в клан, просили и ждали. Но я не могу сейчас проникнуться печалью, как не мог проникнуться ею чуть раньше, проснувшись в неказистом старом гостевом доме. Совсем наоборот. Не знаю, чувствовал ли я себя когда-нибудь таким живым, так ясно мыслящим, пребывающим в таком согласии с собой и миром, как в эти несколько минут у вершины знакомого холма при виде солнца, мощно и уверенно поднимающегося по небосклону, при виде деревни внизу, за годы совсем не изменившейся, озера, блестящего, как разлитая ртуть, зелени разных оттенков — пастбище, луг, сахарный клен, черная ель — все словно приподнимается от тепла, сокращая тени.

Тут оно было, тут оно и осталось — место, где в лучшие годы нашей жизни обитала дружба, квартировало счастье.

---

Вернувшись, вижу, что Салли села, жалюзи на ближнем к ней окне, до которого она может дотянуться, поднято, и комнату пересекла солнечная полоса. Салли пьет кофе, налив себе чашку из термоса, и ест банан из корзинки, которую оставила вечером Халли, когда привела нас сюда ночевать.

— Не завтрак, — сказала Халли. — Так, легкая закуска. *Чота хазри*<sup>1</sup>. Мы зайдем и пригласим вас на завтрак, но он будет поздний. Вы устали, выбились из графика. Так что спите, а мы зайдем примерно в десять. После завтрака — к маме, а потом, во второй половине дня, пикник на Фолсом-хилле. Так она хочет.

— Пикник? — переспросила Салли. — Он ей по силам будет? Если она ради нас его затевает, то не надо.

— Так она распорядилась, — ответила Халли. — Сказала: вы будете уставшие, надо дать вам отдохнуть, и если она так сказала, значит, вам надлежит быть уставшими. Если она затевает пикник, вам полагается хотеть пикника. Нет, она справится. Она бережет силы для дел, которые имеют для нее значение. Хочет, чтобы было как в старые времена.

Поднимаю другие два жалюзи, и сумрачная комната освещается.

— Куда ты ходил? — спрашивает Салли.

— По старой Уайтменовской дороге.

<sup>1</sup> Легкий завтрак (из англо-индийского лексикона). (*Здесь и далее — прим. перев.*)

Наливаю себе кофе и сажусь в плетеное кресло, которое помню как предмет мебели с Ноева ковчега. Салли смотрит на меня с кровати.

— И как там?

— Красиво. Тихо. Приятный лесной, земляной запах. Все как было.

— Завидую.

— Я потом свожу тебя на машине.

— Нет, мы же на пикник, этого достаточно. — Прихлебывает кофе, глядя на меня поверх чашки. — Вся она в этом! Стоит на пороге смерти — и хочет, чтобы было как в старые времена, и *велит* устраивать все соответственно. И беспокоится, что мы устали. Какую зияющую дыру она по себе оставит! Да уже и *есть* дыра, с тех пор как мы... Ты не ощутил никакого отсутствия?

— Никакого. Только присутствие.

— Хорошо, я рада. Не могу вообразить себе этого места без них. Без них обоих.

Многолетняя инвалидность иных наделяет некой надмирностью, иных побуждает жалеть себя, иных озлобляет. Салли она всего лишь сделала более явственной, более такой, какая она есть. Даже когда она была молода и здорова, она могла выглядеть до того спокойной, до того отрешенной от порывов и болей людских, что иные заблуждались на ее счет. Сид Ланг, который отнюдь не обделен восприимчивостью и в свое время, несомненно, был в нее немножко влюблен, называл ее Прозерпиной и дразнил строками из Суинберна:

Богиня ждет бесстрастно

Под блеклою листвою

И смертных манит властно  
Бессмертной рукой<sup>1</sup>.

Холод ее бессмертных рук стал для нас с ней предметом шуток. Но тихой она научилась быть гораздо раньше, еще в те годы, когда ее матери приходилось пристраивать дочь, как сверток, в любом удобном месте, — тихой, как юная лань, которая должна, если мать уходит, лежать неподвижно, скрытно, не распространяя запаха. Незримая рука очень рано придала ее лбу безмятежность изваянной скульптуры; кажется, что внутри она так же спокойна, как снаружи. Но я знаю ее давно. Возраст и болезнь, облагородив ее лицо, сделал виски и скулы хрупкими и изящными, сосредоточили ее существование в глазах.

Сейчас они, эти глаза, уличают ее пассивное, приемлющее лицо во лжи. Они глядят затуманенно, беспокойно. Она смотрит на свои пальцы, которые сплетает, расплетает, опять сплетает, к которым обращается. — Она мне приснилась. Под утро, перед самым пробуждением.

— Что ж, это естественно.

— Мы из-за чего-то ругались. Она хотела, чтобы я что-то сделала, я сопротивлялась, и она была в ярости. Я тоже. Ну не погано ли с моей стороны сейчас... — Она умолкает, а затем, как будто я ей возразил, горячо продолжает: — Они единственная наша семья, единственные родные люди, какие есть и были. Без них наша жизнь сложилась бы совсем по-другому и гораздо трудней. Мы не познакомились бы с этим местом, не со-

<sup>1</sup> Из стихотворения английского поэта Алджернона Чарльза Суинберна (1837–1909) “Сад Прозерпины”, пер. Г. Бена.

шлись бы с людьми, которые так много для нас значили. У тебя с карьерой все было бы намного хуже: мог бы застрять в каком-нибудь заштатном колледже. Если бы не Чарити, я не осталась бы в живых. Не захотела бы.

— Я знаю.

Я сижу спиной к окну. На прикроватном столике — стакан с водой, который я поставил вечером для Салли. Свет низкого солнца, преломленный стаканом, создает на потолке радужный овал. Вытягиваю ногу и легонько толкаю столик. Многоцветный овал колеблется. Поднимаю руку и преграждаю лучу путь к стакану. Радуга пропадает.

Салли, хмурясь, наблюдает за мной.

— Что ты хочешь этим сказать? Что все кончено? Что надо принять это как данность? Я устаю принимать. Устаю слушать, что Господь дает ношу по силам. Кто это сказал?

— Не знаю. Я не говорил.

— Может быть, это и правда, но с меня хватит. Просыпаюсь здесь, где все мне о них напоминает, и мне снится, что мы ссоримся, и я думаю про то, как позволяла себе судить ее и как долго это продолжалось, и мне просто хочется плакать и скорбеть.

Упрекая себя, она делает брезгливое лицо. Мы смотрим друг на друга, нам обоим неуютно. Она, похоже, нуждается в некоем проявлении уныния с моей стороны, и поэтому я говорю:

— Я тебе скажу, где ощутил отсутствие. Вчера вечером, когда мы приехали. Я знал, что Чарити не выйдет нам навстречу с фонариком, но на Сида я надеялся. Видимо, он там постоянно нужен. Когда появились только Халли и Моу как доверенные лица, сердце у меня упало,

я почувствовал, насколько все серьезно. Но сегодня утром я это забыл, ощущение было такое же, как всегда.

— Зря она внушила себе, что мы будем слишком уставшие, чтобы прийти прямо с утра. Очень на нее похоже. Видимо, придется ждать до полудня. Подними меня, пожалуйста. Мне надо встать.

Закрепляю на ее ногах металлические фиксаторы, подхватываю ее под мышки, ставлю на ноги и даю ей костыли с опорой под локоть. С их помощью она движется в ванную. Я иду следом, и когда она, встав перед унитазом, наклоняется освободить колени, я опускаю ее на сиденье и оставляю одну. Через некоторое время она стучит в стену, я вхожу и поднимаю ее. Она снова застегивает фиксаторы и начинает умываться над раковиной с налетом от солей в родниковой воде. Через несколько минут выходит причесанная, смывшая с лица остатки сна. У кровати опять наклоняется к коленям, расстегивает замки и внезапно садится, точно падает на смятое одеяло. Я поднимаю ее ноги на кровать, подкладываю под спину подушки, устраиваю ее поудобнее.

— Как себя чувствуешь? Что-нибудь не так?

— Пожалуй, Чарити права. Устала.

— Может быть, еще поспишь? Хочешь, сниму фиксаторы?

— Нет, оставь. Меньше будет тебе хлопот, если мне придется тебя позвать.

— Да какие там хлопоты.

— Ну как какие, — возражает она. — Изрядные. Изрядные! — Прикрывает глаза. Потом вновь улыбается. — Как насчет того, чтобы очистить нам апельсин?

Я чищу нам апельсин и наливаю остатки кофе из термоса. Она полусидит, прислонясь к изголовью

кровати, ноги — тонкая прямая линия под одеялом, лицо приняло одно из тех ее задорных, озорных выражений, которыми она словно говорит: ну до чего весело!

— Мне нравится эта идея с *чота хазри*, — говорит она. — А тебе? Это как в Италии, когда мы просыпались рано и ты готовил чай. Или в отеле “Тадж-Махал” в Бомбее. Помнишь тамошний завтрак? Фрукты и чай, а здесь — фрукты и кофе. Не хватает только большого потолочного вентилятора вроде того, который сломался, когда Ланг бросила в него подушку.

Я оглядываю голые стены, голые стойки, голые балки, простые зеленые жалюзи без занавесок. Все остальное, что имеется на территории, даже Большой дом, выдержано примерно в таком же духе. Чарити ровным слоем накладывала строгую простоту на себя, на свою семью, на гостей.

— Ну, — приходится мне сказать, — *не совсем* как в отеле “Тадж-Махал”.

— Лучше.

— Может быть, и лучше.

Она роняет на колени полусжатую в кулак руку с половинкой апельсина — руку, которая никогда полностью не разожмется, потому что, когда Салли была в “железном легком”<sup>1</sup>, все мы, даже Чарити, которая обычно ничего не упускала из виду, были так сосредоточены на том, чтобы она дышала, что кистью руки заняться забыли. Она слишком долго оставалась в сжатом положении. Теперь спокойное самообладание, тихое стоическое смирение опять покидает Салли на время. По глазам вижу, что ее одолевают эмоции и что она переутомлена.

1 “Железное легкое” — устройство искусственного дыхания для страдающих параличом дыхательных мышц при полиомиелите.

— Ах, Ларри, Ларри, — с укором обращается ко мне она. — Не говори мне, что не опечален. Ты так же опечален, как я.

— Только когда смеюсь, — отвечаю словами из песни, ибо, какие бы эмоции ее ни одолевали, она не более терпима к вытянутым лицам, чем Чарити. Она принимает упрек, позволяет мне подоткнуть одеяло, позволяет себя поцеловать, улыбается. Опускаю жалюзи. — Халли и Моу придут через два-три часа, не раньше. Попси. У нас в Санта-Фе только пять утра. Я тебя разбужу, когда они явятся.

— А сам что собираешься делать?

— Ничего особенного. Буду сидеть на веранде, присматриваться, принимать, пребывать *в поисках утраченного времени*.

Чем я довольно долго и занимаюсь. Усилий это не требует. Все здесь к этому побуждает. С высокой веранды лес, спускающийся к озеру, выглядит чем-то большим, нежели просто знакомое, излюбленное место. Это среда обитания, к которой мы когда-то были сполна приспособлены, некое Безмятежное Царство, где виды, подобные нашему, могут эволюционировать без помех и находить свою ступень на лестнице бытия. Сидя и глядя на этот мир, я опять, как на Уайтменовской дороге, был поражен его неизменностью. Свет побуждает и к тихой грусти по былым утрам, и к оптимистическому ожиданию новых утр.

Кроме птичьего щебета и редких звуков пробуждения из коттеджей, упрятанных среди деревьев слева от меня — то стукнет что-то, то хлопнет какая-то дверь, — тишину здесь, пока я сижу, почти ничто не нарушает. Только раз некое подобие вторжения: шум ло-



дочного мотора, он назревает, растет, наконец из-за мыса вылетает и сворачивает в бухту белое судно с водным лыжником, оставляя за собой расходящийся след, который лыжник фигурно пересекает туда-сюда. Они выписывают внутри бухты большую петлю и с рокотом мчатся обратно; шум, когда они скрываются за мысом, быстро сходит на нет.

Рановато для таких забав. И, надо признать, проявление перемен. В былые дни из своих творческих убежищ уже выскочили бы, как потревоженные гномы, десятки ученых мужей и потребовали бы прекратить безобразия.

Но если не считать этого единственного вторжения — покой, тот самый, что я раньше знал на этой веранде. Вспоминаю первый наш приезд сюда, нас, какими мы тогда были, и это приводит на ум мой нынешний возраст: шестьдесят четыре года. Хотя я всю жизнь был занят, может быть, слишком занят, сейчас мне кажется, что я достиг мало чего существенного, что мои книги никогда не передавали всего, что было у меня в голове, и что вознаграждение — неплохой доход, известность, литературные премии, почетные степени — всего лишь мишура, не то, чем пристало довольствоваться взрослому человеку.

Во что переросло объединявшее нас стремление усовершенствовать себя, раскрыть свои возможности, оставить след в мире? Наши самые жаркие споры всегда были о том, как *внести вклад*. О вознаграждении мы не беспокоились. Мы были молоды и серьезны. Мы никогда не обманывались на свой счет, не думали, что у нас есть политические таланты к переустройству общества, к установлению социальной справедливости.

Деньги сверх базового минимума не были для нас целью, достойной уважения. Кое-кто из нас даже подозревал, что деньги приносят человеку вред, — отсюда склонность Чарити к безыскусной, простой жизни. Но все мы надеялись, каждый по своим способностям, определить для себя и показать другим некий образ достойной жизни. Я всегда стремился сделать это словесно, Сид тоже, хоть и с меньшей уверенностью. У Салли это было сочувствие, понимание, мягкость по отношению к людскому упрямству или слабостям. У Чарити — организация, порядок, действие, помощь неуверенным, руководство колеблющимися.

Оставить след в мире... Вместо этого мир оставил следы на нас. Мы постарели. Каждый из нас претерпел от жизни по-своему, и теперь кто-то лежит в ожидании смерти, кто-то ходит на костылях, кто-то сидит на веранде, где некогда всю бродили юные соки, и чувствует себя старым, мало на что годным, сбитым с толку. В иных настроениях меня тянет пожаловаться, что мы опутаны сетями, хотя, конечно, мы опутаны не туже, чем большинство людей. И все мы, все четверо, думаю, можем как минимум быть довольны тем, что наши жизни нельзя назвать вредными или разрушительными. Кто-то менее удачливый может даже нам позавидовать. Я готов оказать себе некое сдержанное снисхождение, ибо, сколь бы глуп, зелен и наивно оптимистичен я ни был в начале пути и сколь бы тяжело я ни тащился последние мили этого марафона, ни в чем по-настоящему постыдном я упрекнуть себя не могу. И никого из четверки — ни Салли, ни Сиды, ни Чарити. Мы сделали массу ошибок, но мы ни разу никому не подставили подножку, ни разу в нарушение

## ЧАСТЬ I

правил тайком не срезали угол. Мы честно пропыхтели всю дистанцию.

Я плохо знал себя раньше, да и сейчас не очень хорошо знаю. Но я знал и знаю тех немногих, кого любил и кому доверял. Мои чувства к ним — та часть меня, с которой я никогда не ссорился, пусть даже отношения с ними самими иной раз становились негладкими.

В одном из старших классов в Альбукерке, Нью-Мексико, я и еще несколько человек целый год читали Цицерона: *De Senectute* — “О старости”, *De Amicitia* — “О дружбе”. До чего-либо похожего на смиренную мудрость *De Senectute* я, наверное, никогда не сумею подняться. Но что касается *De Amicitia* — тут я делал попытки все последние тридцать четыре года, и, пожалуй, небезуспешно.